# Чтец

**Автор:**
Бернхард Шлинк

Чтец

Бернхард Шлинк

Азбука-классика

Феноменальный успех романа современного немецкого писателя Бернхарда Шлинка «Чтец» (1995) сопоставим разве что с популярностью вышедшего двадцатью годами ранее романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». «Чтец» переведен на тридцать девять языков мира, книга стала международным бестселлером и собрала целый букет престижных литературных премий в Европе и Америке.

Внезапно вспыхнувший роман между пятнадцатилетним подростком, мальчиком из профессорской семьи, и зрелой женщиной так же внезапно оборвался, когда она без предупреждения исчезла из города. Через восемь лет он, теперь уже студент выпускного курса юридического факультета, снова увидел ее – среди бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе против нацистских преступников. Но это не единственная тайна, которая открылась герою романа Бернхарда Шлинка «Чтец».

Бернхард Шлинк

Чтец

Copyright © 1995 by Diogenes Verlag AG Z?rich

© Б. Хлебников, перевод, послесловие, примечания, 2009

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

# Часть первая

## 1

В пятнадцать лет я переболел желтухой. Она началась осенью, а кончилась весной. Чем холоднее и темнее становился старый год, тем больше я слабел. Лишь после Нового года дело пошло на поправку. Январь выдался теплым, поэтому мать выносила мою постель на балкон. Я глядел на небо, на солнце или облака и слушал, как во дворе играют ребята. Однажды в феврале под вечер до меня донеслось пение дрозда.

Первый выход с Блюменштрассе, где мы жили на третьем этаже солидного, построенного в начале века дома, привел меня на Банхофштрассе. Как-то октябрьским понедельником я возвращался по ней из школы домой, и меня стошнило. До этого я уже несколько дней ощущал слабость, какой прежде никогда не испытывал. Каждый шаг стоил мне больших усилий. Когда приходилось подыматься по ступенькам в школе или дома, я почти не чувствовал ног. Мне и есть ничего не хотелось. Вроде бы проголодавшись, я садился за стол, однако уже через минуту даже смотреть не мог на еду. Утром во рту чувствовалась сухость, и вообще в теле возникало ощущение странной тяжести, будто все внутренности как-то перекосились. Я стыдился этой слабости. И уж совсем застыдился, когда меня стошнило. До тех пор со мною никогда такого не происходило. Рот наполнился жижей, я хотел сглотнуть, сжал губы, закрыл рот рукой, но струя прорвалась сквозь губы и через пальцы. Прислонившись к стене, я глядел на лужицу у ног и давился желтой слизью.

Женщина, пришедшая мне на помощь, обошлась со мною едва ли не грубо. Взяв мою руку, она протащила меня через темную подворотню во двор. Там между окнами были протянуты веревки, на которых сушилось белье. Здесь же лежали доски; из распахнутой двери мастерской летели опилки, тонко звенела пила. Рядом с дверью торчал водопроводный кран. Женщина открыла его, сначала вымыла мою руку, затем набрала обеими пригоршнями воды и плеснула мне в лицо. Я утерся носовым платком.

– Возьми-ка!

Возле крана стояли два ведра, женщина подняла одно и наполнила его водой. Я взял другое, прошел за ней через подворотню. Хорошенько размахнувшись, женщина выплеснула воду на тротуар и смыла жижу. Она забрала мое ведро, и за первым водопадом последовал второй.

Женщина выпрямилась и увидела, что я плачу.

– Ну что ты, малыш? – сказала она удивленно.

Она обняла меня. Я был лишь чуточку выше ростом, своей грудью я чувствовал ее грудь; уткнувшись в нее, я различал и кисловатый запах из собственного рта, и легкий запах ее пота. Непонятно было, куда девать руки; плакать я перестал.

Выяснив, где я живу, она отнесла ведра в подворотню и отвела меня домой. Она шла рядом, в одной руке несла мою школьную сумку, а в другой держала мою ладонь. От Банхофштрассе до Блюменштрассе совсем недалеко. Она шагала быстро и решительно, мне легко удавалось идти в ногу. Перед нашим домом мы распрощались.

В тот же день мать вызвала врача, который определил желтуху. Позднее я рассказал матери о той женщине. Иначе, наверное, мой последующий визит вряд ли бы состоялся. Но для матери само собой разумелось, чтобы я при первой же возможности купил на собственные карманные деньги букет цветов и сходил поблагодарить незнакомку. Так и получилось, что в конце февраля я вновь отправился на Банхофштрассе.

Того дома на Банхофштрассе теперь уже нет. Когда и почему его снесли, не знаю. Долгое время я не бывал в родном городе. Новое здание, построенное в семидесятых или восьмидесятых годах, насчитывает пять этажей; на верхнем этаже высокие потолки; ни балконов, ни эркеров нет, все гладкое и светлое. Множество звонков у подъезда указывает на наличие небольших отдельных квартир. В такую квартиру поселяются ненадолго, вроде того, как берут напрокат автомобиль. На нижнем этаже сейчас открыт магазин, торгующий компьютерами, которому предшествовали сначала аптека, затем продуктовый магазин, а потом видеотека.

У прежнего дома при той же высоте было четыре этажа, то есть партер, сложенный из отшлифованных кубов песчаника, и три этажа кирпичной кладки – с эркерами, балконами, каменным обрамлением окон. К парадному вела лестница с каменным бордюром и железными перилами, вверху ступеньки были поуже, внизу пошире, железки завивались спиралью. Входную дверь украшали колонны, один лев на архитраве глядел на верхнюю часть Банхофштрассе, другой – на нижнюю. Подворотня, через которую незнакомая женщина отвела меня к водопроводному крану, имела боковой вход.

Я заприметил этот дом, когда еще был совсем маленьким. Он доминировал над другими зданиями квартала. Мне казалось, если этот дом натужится и еще больше раздастся вширь, то соседние дома обязательно посторонятся, уступая ему место. В моем воображении рисовался роскошный подъезд с лепниной, зеркалами и персидской ковровой дорожкой, придавленной на парадной лестнице блестящими латунными прутьями. По-моему, в таком солидном доме могли жить только солидные господа. А поскольку сам дом с годами потемнел от сажи, летящей с проходящих неподалеку поездов, то и его обитатели представлялись людьми мрачными и, пожалуй, необычными – например, немыми или глухими, горбатыми или хромыми.

Позднее мне долгие годы снился этот дом. Все сны были одинаковыми, точнее, они варьировали одну и ту же тему. Будто я оказываюсь в чужом городе и неожиданно вижу перед собой тот самый дом. Он стоит среди других домов на улице, которая мне совершенно незнакома. Я иду дальше, недоумевая, как это я мог узнать дом в совсем не известном мне городском квартале. Тут мне приходит в голову, что уже где-то видел этот дом. Только вспоминается мне не

мой родной город и не Банхофштрассе, а другой город и даже другая страна. Например, мне снится Рим, и я вижу этот дом, но мне чудится, будто прежде я видел его в Берне. Почему-то такое воспоминание успокаивает; увидеть знакомый дом в новом окружении кажется мне не более странным, чем случайная встреча со старым другом в непривычном месте. Я поворачиваю назад, возвращаюсь к дому, поднимаюсь на ступеньку. Хочу войти в парадное. Нажимаю на ручку двери.

Порою мне снится, что этот дом – за городом. Тогда сон тянется дольше, а потом лучше запоминаются подробности. Скажем, я еду на машине. Справа замечаю дом, но еду дальше, поначалу лишь слегка обескураженный тем, что дом вполне городского вида стоит в чистом поле. Мне приходит на ум, что я где-то уже видел его, и замешательство усиливается. Вспомнив наконец, откуда я знаю этот дом, поворачиваю назад. Дорога во сне всегда пуста, я несусь на огромной скорости, аж шины визжат. Я боюсь куда-то опоздать, прибавляю ходу. И вот он снова передо мной. В Пфальце дом стоит среди полей или виноградников, среди рапса или ржи, а в Провансе вокруг него заросли лаванды. Местность равнинная или же слегка холмистая. Деревьев нет. День ясен, светит солнышко, воздух слегка дрожит, шоссе поблескивает на солнцепеке. Входа не видно, он заслонен брандмауэром, поэтому кажется, будто дом вообще недоступен. Впрочем, возможно, что брандмауэр принадлежит совсем иному сооружению. Этот дом не так мрачен, как на Банхофштрассе. Зато окна его до того покрыты пылью, что сквозь них ничего не разглядишь, не видно даже гардин. Дом слеп.

Останавливаюсь на обочине, перехожу на другую сторону шоссе, направляюсь ко входу. Вокруг никого не видно, ничего не слышно – даже отдаленного звука мотора, порыва ветра, птичьего голоса. Мир умер. Поднимаюсь по ступенькам, нажимаю на ручку двери.

Но дверь не открывается. Проснувшись, я поначалу могу лишь вспомнить, что взялся за дверную ручку и нажал на нее. Но постепенно мне вспоминается весь сон, а также то, что я его уже видел раньше.

3

Как звали ту женщину, я не знал. Держа в руке букет, я нерешительно переминался с ноги на ногу перед звонками и табличками с фамилиями жильцов. Я готов был уйти. Но тут из дома вышел мужчина; поинтересовавшись, кого я разыскиваю, он направил меня к госпоже Шмиц, которая жила на четвертом этаже.

Ни лепнины, ни зеркал, ни ковровой дорожки. От скромных украшений подъезда, несравнимых с роскошью парадного входа, не осталось и следа. Красные полоски на ступеньках стерлись посредине, повытерся и узорчатый зеленый линолеум вдоль лестницы на уровне плеча; кое-где отсутствующие стойки перил были заменены веревками. Пахло каким-то моющим средством. Возможно, на все это я обратил внимание лишь позднее. Здесь всегда было одинаково убого и одинаково чисто, всегда пахло этим моющим средством, к которому иногда добавлялись запахи капусты, бобов, жаркого, кипятящегося белья. Мое знакомство с прочими жильцами ограничилось этими запахами, ковриками перед дверьми квартир да фамилиями под звонками. Не помню, чтобы мне когда-нибудь повстречался кто-либо из жильцов.

Не помню я и своих первых слов, сказанных госпоже Шмиц. Вероятно, это были несколько заранее подготовленных фраз о моей болезни, о признательности за оказанную помощь. Она пригласила меня на кухню.

Кухня была самым большим помещением в ее квартире. Здесь стояли плита и мойка, а также ванна с нагревателем, стол с двумя стульями, платяной шкаф и кушетка, покрытая красным бархатом. Окон в кухне не было. Свет сюда попадал через стеклянную дверь, которая вела на балкон. Света в кухне хватало только тогда, когда дверь была открыта. Тогда из столярной мастерской во дворе на кухню доносился визг пилы и запах древесины.

Единственная жилая комната была маленькой и узкой. Ее обстановка состояла из буфета, стола, четырех стульев, кресла с высокой спинкой и печки. Впрочем, зимой комната почти никогда не отапливалась, да и летом ею практически не пользовались. Окно выходило на Банхофштрассе с видом на территорию бывшего вокзала, теперь перерытую котлованами под новые здания суда и прочих учреждений. А еще в квартире имелась крошечная уборная без окошка. Если в ней воняло, то это чувствовалось и в коридоре.

Уже не помню, о чем мы говорили тогда на кухне. Госпожа Шмиц гладила белье на столе, на который постелила шерстяной плед, а сверху кусок полотна. Она

брала из бельевой корзины одну вещь за другой, гладила ее, а потом аккуратно вешала на одном из двух стульев. На другом сидел я. Гладила она и свое нижнее белье; я старался не смотреть на него, но не мог отвести глаза. На ней был халатик без рукавов, синий в блекло-красный цветочек. Доходящие до плеч пепельного цвета волосы были схвачены на затылке заколкой. Ее голые руки показались мне бледными. Движения, которыми она поднимала утюг, гладила, складывала белье, были медлительными и собранными, с такой же медлительностью и собранностью она наклонялась или выпрямлялась. На воспоминания о ее тогдашнем выражении лица наложились более поздние воспоминания. Когда я вызываю ее теперь из своей памяти, то вижу безликой. Чтобы восстановить ее черты, приходится делать усилие. Высокий лоб, высокие скулы, голубые глаза, полные, без резких изгибов губы, рельефный подбородок. Открытое, простоватое женское лицо. Знаю, что она казалась мне красивой. Но самой красоты не помню.

## 4

– Погоди-ка, – сказала она, когда я встал, собираясь уходить, – мне тоже надо выйти, проводи меня немножко.

Я ждал ее в коридоре. Она переодевалась на кухне. Дверь была чуточку приоткрыта. Сняв халатик, она осталась в светло-зеленой комбинации. Чулки висели на спинке стула. Она взяла один чулок и, перебирая пальцами, скатала его край в тугой ролик. Балансируя на одной ноге, она уперлась пяткой другой ноги в колено, наклонилась, натянула скатанный ролик на мысок ступни, поставила ее на сиденье стула, расправила чулок на щиколотке, на колене, на бедре, затем отклонилась в сторону и прицепила чулок к застежке. Потом выпрямилась, убрала ногу со стула, взяла другой чулок.

Я не мог отвести от нее взгляда. От ее затылка, плеч, груди, которую комбинация скорее подчеркивала, нежели скрывала, от ягодиц, на которых натягивалась комбинация, когда она опиралась пяткой о колено или ставила ногу на стул, от ноги, сначала бледной, голой, а потом шелковисто мерцающей в чулке.

Она почувствовала мой взгляд. С чулком в руке она повернулась к двери и посмотрела мне прямо в глаза. Не знаю, что выражал ее взгляд – удивление, вопрос, понимание, упрек? Я покраснел. Какое-то мгновение я стоял с пылающим лицом. Потом, не выдержав, бросился вон из квартиры, скатился по лестнице вниз и выскочил из дома на улицу.

Брел, едва переставляя ноги. Банхофштрассе, Хойссерштрассе, Блюменштрассе – по этим улицам вот уже несколько лет я ежедневно ходил в школу. Я знал тут каждый дом, каждый палисадник, каждый ежегодно заново крашенный забор, деревяшки которого стали уже настолько серыми и трухлявыми, что я легко мог сломать их одной рукой, каждую металлическую ограду; когда я был маленьким, то трезвонил на бегу палкой по ее прутьям; вот высокая каменная стена – за нею мне всегда чудилось нечто таинственное и страшное, пока однажды я не взобрался на нее и не увидел внизу скучные, запущенные грядки с цветами, ягодами и овощами. Я хорошо знал и булыжные мостовые, и асфальтовые, и их переходы на покрытые плитками, вымощенные волнистыми базальтовыми камнями, посыпанные щебнем и галькой боковые дорожки.

Все это было мне давно знакомо. Когда колотящееся сердце успокоилось, а лицо перестало гореть, происшествие между кухней и коридором показалось оставшимся далеко позади. Я злился на себя. Сбежал, будто маленький ребенок, вместо того чтобы повести себя спокойно, как я вправе был ожидать от себя. Ведь мне было уже не девять лет, а пятнадцать. Непонятно только, что означало бы в данном случае «вести себя спокойно».

Непонятно было и само происшествие. Почему я не мог отвести от нее глаз? Ее тело было гораздо более женственным, статным, чем у девочек, которые мне нравились, на которых я засматривался. Но я был уверен, что не обратил бы на нее особого внимания, если бы увидел, например, на пляже. И была она обнажена не больше, чем девочки или женщины, которых я раньше видел на пляже. К тому же она была гораздо старше тех девочек, о которых я порой мечтал. Сколько ей, за тридцать? Трудно угадывать возраст тех, кто старше и до чьих лет тебе еще предстоит дожить.

Спустя многие годы я догадался, что дело было не столько в ее внешности, сколько в движениях и пластике. Я просил моих женщин надевать при мне чулки, но не мог объяснить им смысл моей просьбы, так как не мог сам понять загадку того, что произошло между кухней и коридором. Просьба истолковывалась как эротическая причуда, своего рода фетишизация чулок и

застежек, а потому исполнялась в кокетливых позах. Но я не мог отвести взгляд вовсе не поэтому. Ведь тогда она ничуть не кокетничала. Да и вообще не могу припомнить за нею кокетства. Помню только, что ее тело, ее позы и движения казались мне немного тяжеловесными. Нет, она совсем не была сколько-нибудь грузной. Просто она как бы уходила куда-то в самую глубь своего тела, позволяя ему жить собственной, особой жизнью, ритм которой не нарушался приказаниями, шедшими из головы, и словно забывая о том, что происходит вовне и вокруг. Вот это забвение окружающего почувствовал я тогда в ее движениях, когда она надевала чулки. Нет, в ней не было, пожалуй, ничего тяжеловесного. Она была гибкой, грациозной, соблазнительной – только соблазнительными были не грудь, не ягодицы, не ноги, а приглашение забыть об окружающем мире в глубинах тела.

Тогда я всего этого еще не знал, да, возможно, и сейчас не столько знаю, сколько выдумываю. Но в тот день, стараясь понять, что же меня, собственно, взволновало, я вновь почувствовал прежнее волнение. Чтобы разрешить загадку, я вызвал в памяти ее образ, и отчуждение, которое превратило увиденное в загадку, вдруг исчезло. Я опять увидел ее перед собой и вновь не мог отвести взгляда.

## 5

Спустя неделю я вновь стоял у ее двери.

Всю эту неделю я старался не думать о ней. Но дни были пустыми, ничто не могло отвлечь меня; в школу не пускал врач, читать книги за последние месяцы надоело, а приятели хоть иногда и заглядывали, но болел я уже слишком долго, поэтому их визиты, становившиеся все более краткими, не могли послужить мостиком между моим времяпрепровождением и их повседневными делами. Мне предписывалось гулять, каждый день немножко дольше, чем накануне, однако при этом следовало избегать нагрузок. А они пошли бы мне, пожалуй, только на пользу.

Что за проклятье болеть в детстве или в юности! Уличное приволье доносится из-за окна, со двора лишь приглушенными звуками. В комнате же толпятся герои со своими историями из книжек, прочитанных больным ребенком. Жар,

притупляя чувство реальности, обостряет фантазию и открывает в привычном окружении нечто чужое и странное; в узорах гардин мерещатся жуткие чудовища, они корчат рожи с рисунка обоев; стулья и столы, шкафы и этажерки превращаются в груды скал, причудливые сооружения или корабли, до которых вроде бы рукой подать, но в то же время они оказываются где-то далеко-далеко. А долгими ночными часами слышатся то бой часов с церковной башни, то тихий рокот проезжающей машины – отсвет ее фар скользит по стенам и потолку. Часы без сна – но это не значит, что им чего-то не хватает, наоборот. Они переполнены томлением, воспоминаниями, тревогами, смутные желания сплетаются в лабиринт, где больной теряется, находит себя вновь, чтобы заплутать опять. Это часы, когда все становится возможным – и хорошее, и дурное.

По мере выздоровления это постепенно проходит. Но если болезнь была затяжной, то комната пронизывается чем-то таким, что заставляет ребенка блуждать по прежним лабиринтам, даже когда он уже выздоравливает.

Каждое утро я просыпался с нечистой совестью; иногда на пижамных штанах оставались влажные пятна. Мне снились нехорошие сны. Правда, я знал, что меня не стали бы корить ни мать, ни священник, который готовил меня к конфирмации и которого я очень уважал, ни старшая сестра, которой я поверял свои ребяческие секреты. Но начались бы осторожные, деликатные увещевания, а это хуже любых укоров. Самым же нехорошим в моих снах было то, что они не просто приходили ко мне – я сам вызывал в себе эти грезы.

Не знаю, как я набрался смелости опять пойти к госпоже Шмиц. Может, таким образом мое нравственное воспитание восстало против себя? Ведь если вожделенный взгляд столь же греховен, как удовлетворение вожделения, а вызываемые грезы столь же греховны, как то, о чем я грезил, то не проще ли удовлетворить само желание и совершить сам грех? С каждым днем я убеждался, что не могу отделаться от греховных мыслей. А раз так, то я захотел и самого деяния.

Было и еще одно соображение. Да, идти к ней рискованно. Только невозможно, чтобы риск обернулся чем-то реальным. Наверное, госпожа Шмиц просто удивится моему приходу, выслушает извинения за мое странное поведение и дружелюбно распрощается со мной. Гораздо опаснее было для меня не идти к ней, тогда мне уж вовсе не избавиться от моих грез. Значит, надо идти. Она все поймет правильно, и я поступлю правильно, следовательно, все опять придет в

норму.

Вот так я размышлял тогда, придумывая для своих вожделений причудливые моральные оправдания, чтобы заглушить угрызения совести. Но не это придало мне смелости. Да, я изобретал причины, по которым и мать, и почитаемый мною священник, и старшая сестра, хорошенько подумав, должны были бы не препятствовать моему визиту к госпоже Шмиц и даже, напротив, уговаривать меня совершить его. Но в действительности дело было совсем в другом. На самом деле я не знаю, почему я пошел к ней. Просто сегодня я распознаю в тогдашнем поступке ту схему, по которой на протяжении дальнейшей жизни согласовывались – или не согласовывались – мои мысли с моими поступками. Обычно я размышляю, прихожу к определенному выводу, превращаю этот вывод в некое решение; впрочем, теперь я сознаю, что поступок есть действие вполне самостоятельное, он может стать следствием принятого решения, но не обязательно. Мне часто приходилось делать в жизни что-то, не приняв соответствующего решения, и наоборот, я многого не делал, хотя и принимал твердое решение. Нечто, не знаю что, действует во мне само по себе; оно влечет меня к женщине, которую я не хочу больше видеть, или заставляет сказать начальнику дерзость, которая может стоить мне головы, или тянет к сигарете вопреки намерению бросить курить и вынуждает бросить курить как раз тогда, когда я смиряюсь с мыслью, что мне суждено остаться курильщиком до конца моих дней. Не стану утверждать, будто размышления и принятые решения вообще никак не влияют на поступки. Но поступки не являются простым следствием размышлений и решений. У них есть собственный источник, такое же свое самостояние, которое делает мои мысли моими мыслями, а мои решения – моими решениями.

## 6

Дома ее не оказалось. Дверь подъезда была не закрыта, а лишь притворена, я поднялся по лестнице, позвонил, подождал. Затем позвонил еще раз. Внутри квартиры двери были распахнуты, я увидел это через стекло входной двери; разглядел я также и зеркало в коридоре, шкаф и часы. Даже услышал, как они тикают.

Усевшись на ступеньки, я принялся ждать. Я не чувствовал облегчения, как это бывает, когда, принимая решение, трусишь, так как боишься последствий, зато потом радуешься, что решение исполнил и ничего страшного не произошло. Впрочем, не было и разочарования. Просто я твердо решил ее увидеть, то есть дождаться ее прихода.

Часы в коридоре били каждые четверть часа, полчаса и полный час. Я попытался следить за тиканьем, чтобы отсчитывать девятьсот секунд от одного боя курантов до другого, однако не мог сосредоточиться. Меня отвлекало визжание пилы во дворе, звуки музыки из какой-то квартиры, хлопанье дверей. Потом я услышал на лестнице тяжелые, ровные, медленные шаги. Оставалось лишь надеяться, что мужчина не дойдет до меня. Ведь если он увидит меня, как ему объяснить, что я тут делаю? Однако шаги, дойдя до третьего этажа, не затихли. Человек пошел дальше. Я встал.

Это была госпожа Шмиц. В одной руке она несла пакет, в другой – корзину с угольными брикетами. По форменной жакетке и юбке я догадался, что она работает трамвайным кондуктором. Она не замечала меня, пока не дошла до лестничной площадки. В глазах не появилось ни раздражения, ни удивления, ни насмешки – ничего такого, чего я опасался. Вид у нее был усталый. Поставив корзину, она сунула в карман жакетки руку за ключом, об пол звякнули несколько выпавших монет. Я поднял их, протянул ей.

– В подвале еще два пакета. Можешь их наполнить и сюда принести? Дверь там открыта.

Я бросился вниз. Дверь подвала действительно была открыта, свет тоже горел; спустившись по длинной подвальной лестнице, я нашел дощатую загородку; дверца ее была лишь прислонена, задвижка открыта, на ней болтался подвешенный за дужку замок. Подвал был довольно большим, уголь громоздился почти до потолка, во всяком случае до самого люка, через который уголь ссыпался с улицы в подвал. Возле двери с одной стороны были аккуратно уложены угольные брикеты, а с другой лежали пакеты.

Даже не знаю, чем объяснить мою оплошность. Дома я тоже носил уголь из подвала, и никогда у меня не возникало никаких проблем. Правда, дома куча не бывала такой высокой. Первый пакет наполнился легко. А вот когда я взялся за ручки второго пакета, чтобы подставить его под уголь, вся куча пришла в движение. Сверху с большими отскоками посыпались маленькие куски, увлекая

за собою куски покрупнее, которые катились не так шибко, внизу все это сложилось в здоровенный оползень. Поднялось облако черной пыли. Я остолбенел от испуга, куски угля били меня по ногам, и вскоре я уже стоял по щиколотку в черной куче.

Когда все улеглось, я наполнил оба пакета, потом взял метлу, собрал в загородку куски угля, выкатившиеся наружу, закрыл дверь и пошел с обоими пакетами наверх.

Она уже сняла жакет, ослабила узел галстука, расстегнула верхнюю пуговку и сидела со стаканом молока у кухонного стола. Взглянув на меня, она сначала сдержанно усмехнулась, а потом откровенно расхохоталась. Показывая на меня пальцем, другой рукой она шлепнула по столу:

– Ну и вид у тебя, малыш! Ну и вид!

Тут я увидел в зеркале над мойкой свое черное лицо и тоже не мог удержаться от смеха.

– Таким тебе домой нельзя. Сейчас налью ванну и вытряхну твою одежду. – Подойдя к ванне, она открыла кран. Вода с паром хлынула в ванну. – Раздевайся осторожно, а то напылишь тут на кухне.

Я помедлил, затем снял свитер и рубашку, опять помедлил. Вода набиралась быстро, ванна была уже почти полной.

– Ты что, в брюках и ботинках собрался мыться? Ладно, малыш, я отвернусь.

Однако когда я, закрыв кран, снял трусы, она спокойно взглянула на меня. Я покраснел, залез в ванну, нырнул с головой. Вынырнув, увидел, что она ушла с моей одеждой на балкон. Мне было слышно, как она била подошвами друг о друга мои ботинки, вытряхивала брюки и свитер. Она что-то прокричала вниз про угольную пыль и стружки, со двора ей что-то ответили, она рассмеялась. Вернувшись на кухню, она положила мои вещи на стул. Мельком взглянула на меня.

– Возьми-ка шампунь и вымой голову. Сейчас принесу полотенце. – Она открыла платяной шкаф, потом вышла из кухни.

Я вымылся. Вода сделалась грязной, пришлось заново наполнить ванну, сполоснуть под струей голову и лицо. Я лежал, слушая, как гудит нагреватель, чувствуя тепло воды и холодок на лице, который шел от приоткрытой кухонной двери. Мне было хорошо. Это как-то возбуждало меня, и член мой встал.

Я не заметил, как она вошла на кухню, и увидел ее уже только у ванны. Она держала перед собой растянутое полотенце.

– Подымайся!

Вылезая из ванны и выпрямляясь, я повернулся к ней спиной. Закутав меня сзади с головы до ног, она насухо вытерла меня. Потом полотенце скользнуло вниз. Она подошла ко мне так близко, что я почувствовал спиной ее грудь и ягодицами ее живот. Она тоже была голой. Одну ладонь она положила мне на грудь, а другую на мой возбужденный член.

– Так вот почему ты пришел.

– Я… – Я не знал, что сказать. Не мог сказать «да» и не мог сказать «нет». Я повернулся. Увидел немного. Мы стояли слишком близко друг к другу. Но меня сразила сама ее нагота. – До чего ты красива!

– Не говори глупостей, малыш. – Она засмеялась, обняла меня за шею, я тоже обнял ее.

Я боялся прикоснуться к ней, поцеловать, боялся, что слишком мал для нее. Но когда мы немножко постояли так, обнявшись, и до меня дошел ее запах, тепло и сила ее тела, то все остальное совершилось само собой. Я блуждал по ее телу руками и ртом, потом наши губы встретились, наконец ее лицо взошло надо мною, мы глядели в глаза друг другу, пока я не содрогнулся, сначала закрыл глаза, пытаясь сдержаться, а затем вскрикнул так громко, что ей пришлось зажать мне рот ладонью.

Той же ночью я влюбился в нее. Сон был неглубок, я томился без нее, она мне снилась, мне казалось, будто она со мной, но потом я понимал, что держу в руках подушку или одеяло. Губы болели от поцелуев. Возбуждался член, но мне не хотелось удовлетворять себя самому, я вообще решил никогда больше не делать это сам. Мне хотелось быть с ней.

Влюбился ли я в нее за то, что она переспала со мной? До сих пор после ночи, проведенной с женщиной, у меня бывает такое чувство, будто мне сделали подарок, на который я должен чем-то ответить: ответить этой женщине – например, попыткой полюбить ее – и всему миру, дары которого я принимаю.

Одно из немногих ярких воспоминаний моего раннего детства восходит к зимнему утру, когда мне было четыре года. Комната, где я тогда спал, не отапливалась, поэтому ночью и утром в ней бывало очень холодно. Помню теплую кухню и жаркую плиту, громоздкую, чугунную, внутри которой, если отодвинуть кочергой железные круги, можно было увидеть огонь; здесь грели воду. Мать подвигала к плите стул и ставила меня на него, чтобы одеть и умыть. Помню это ощущение тепла и то блаженство, которое я испытывал от умывания теплой водой и одевания. Всякий раз, когда я вспоминаю об этом, то задаюсь вопросом: почему меня мать так баловала? Может, я был болен? Или же мне досталось то, чем оказались обделены мои сестры и брат? А может, меня готовили с утра к чему-то трудному, неприятному, что предстояло пережить днем?

На следующий день я пошел в школу, причиной чего послужил, в частности, тот подарок, который я получил накануне от женщины, остававшейся пока в моих мыслях безымянной. Мне хотелось, чтобы другие увидели, что я стал мужчиной. Нет, я не собирался хвастать. Просто я ощущал силу, даже превосходство над другими, и мне хотелось молча дать почувствовать мою силу и превосходство одноклассникам и учителям. Кроме того, хоть мы и не говорили с ней об этом, но я решил, что, будучи трамвайным кондуктором, она, наверное, работает до позднего вечера или даже до ночи. Как же мы сможем ежедневно видеться с ней, если на время болезни мне полагалось сидеть дома и в лучшем случае совершать короткие оздоровительные прогулки?

Когда я вернулся от нее домой, родители, сестры и брат уже сидели за ужином.

– Почему так поздно? Мать волнуется. – В голосе отца слышалось скорее раздражение, чем беспокойство.

Я ответил, что заблудился; мол, хотел прогуляться через Братское кладбище до Молькенкура, но попал неизвестно куда, а в конце концов очутился в Нуслохе.

– Денег у меня не было, пришлось добираться от Нуслоха пешком.

– Попросил бы, чтобы тебя подвезли. – Моя младшая сестра иногда путешествует автостопом, родители этого не одобряют.

Старший брат презрительно засопел:

– Молькенкур и Нуслох – это ж противоположные концы.

– Завтра пойду в школу.

– Вот и поучи географию. Где север, а где юг, солнце восходит на…

Мать перебила его:

– Но врач говорил, что еще три недели…

– Если уж он может допехать от Братского кладбища до Нуслоха и обратно, то может и в школу ходить. Не сил ему не хватает, а мозгов.

Раньше мы с братом вечно дрались, позднее потасовки сменились словесными перепалками. Он был старше меня на три года, поэтому превосходил меня как в одном, так и в другом. С каких-то пор я перестал давать ему сдачи, так что его бойцовский пыл не находил себе применения. Теперь он ограничивался ворчанием.

– А ты что скажешь? – обратилась мать к отцу.

Положив вилку с ножом на тарелку, он откинулся, скрестил руки на коленях. Помолчал, подумал, как делал это всегда, когда мать заводила разговор о детях

или о хозяйстве. Меня всегда интересовало, действительно ли он задумался над тем, что спросила мать, или только делает вид, а сам думает о своей работе. Наверное, он предпринимал попытку, но едва начинал размышлять, его мысли не могли заняться ничем иным, кроме работы. Он был профессором философии, размышления составляли его жизнь – раздумья, чтение, сочинение книг, преподавание.

Иногда у меня возникало такое чувство, будто мы, его семья, служили для него чем-то вроде домашних животных. Вроде собаки, с которой ходят гулять, или вроде кошки, с которой играют, берут на колени, гладят ее, свернувшуюся комочком, слушают ее мурлыканье – все это может хозяину нравиться, даже отвечать какой-то потребности, если бы не докучливая покупка корма, возня с кошачьим туалетом, визиты к ветеринару. Это уже слишком, ибо жизнь подлинная состоит в ином. А мне бы хотелось, чтобы мы, семья, и были его подлинной жизнью. Порой я желал, чтобы у меня был другой брат, не такой ворчун, и другая младшая сестра, не такая нахальная. Но в тот вечер я всех их ужасно любил. Например, младшую сестру. Нелегко ведь, наверное, быть самой маленькой из четырех детей, тут без нахальства своего не добьешься. Или старшего брата. Нам приходилось делить с ним комнату, что для него было, конечно же, тяжелее, чем для меня, не говоря уж о том, что, пока я болел, он был вынужден уступить мне всю комнату, а сам спал на софе в гостиной. Как же тут не ворчать? Или взять отца. Почему, собственно, детьми должна исчерпываться вся его жизнь? Ведь мы уже скоро станем взрослыми и уйдем из дома.

У меня было такое чувство, будто мы в последний раз собрались за нашим круглым столом под пятирожковой латунной люстрой, будто в последний раз мы ужинаем вместе со старых тарелок с зеленым ободком, в последний раз ведем семейную беседу. Я как бы прощался с остальными. Мы еще были вместе и уже врозь. Я тосковал по родному дому, по матери, отцу, сестрам и брату, но меня тянуло к той женщине.

Отец взглянул на меня:

– Ты сказал, что собираешься завтра в школу. Верно?

– Да. – Значит, он обратил внимание, что я спросил не мать, а его, или даже поставил в известность о своем решении, а не спросил, пора ли мне снова идти в школу.

Он кивнул:

– Ладно, ступай. Если будет тяжело, посидишь еще дома.

Я был счастлив. Но одновременно ощутил, что прощание состоялось.

## 8

В ближайшие дни она работала в утреннюю смену и возвращалась домой к полудню. Я же, каждый раз прогуливая последний урок, ждал ее на ступеньках лестницы перед дверью квартиры. Мы шли под душ, занимались любовью, после чего около половины второго я поспешно одевался и мчался домой. В половине второго дома был обед. По воскресеньям мы обедали уже в двенадцать, правда, и ее утренняя смена начиналась и заканчивалась позже.

От душа я бы отказался. Но она была ужасно чистоплотной, обязательно принимала душ утром, а мне нравился запах ее духов, ее тела и даже те запахи, которые она приносила после работы на трамвае. Впрочем, нравилось мне и ее мокрое тело, покрытое мыльной пеной; я любил, когда она меня намыливала, и сам с удовольствием намыливал ее – она научила меня делать это без ложной стыдливости, со спокойной тщательностью и каким-то естественным чувством права на обладание мною. С такой же естественностью она предавалась любви. Ее язык играл моим языком, она говорила мне, где и как ее трогать. Она садилась на меня сверху, была страстной, я существовал для нее в мгновения чувственного апофеоза лишь постольку, поскольку со мной, благодаря мне она испытывала наслаждение. Нет, она вовсе не обделяла меня ласками, не забывала обо мне. Но все это она делала ради собственного наслаждения, чему она учила и меня.

Это пришло позднее. По-настоящему я так всему и не научился. Да я и не ощущал в том большого недостатка. Я был слишком молод, быстро кончал, и мне нравилось, пока я вновь приходил в себя, быть в ее власти. Я видел ее над собою, видел ее живот, на котором выше пупка обозначалась глубокая складка, ее груди, из которых правая казалась мне чуточку больше левой, ее лицо и приоткрытый рот. Она опиралась руками о мою грудь, а в последний момент

всплескивала ими, обхватывала свою голову и издавала беззвучный, захлебывающийся, всхлипывающий крик – в первый раз он испугал меня, а позднее я с жадностью ожидал его.

Потом мы лежали обессиленные. Часто она засыпала на мне. Со двора до меня доносились визг пилы и громкие голоса рабочих, заглушавшие этот визг. Если пила замолкала, то в кухне слышался шум машин, проезжавших по Банхофштрассе. Когда раздавались голоса играющих детей, это означало для меня, что минул час дня и уроки в школе кончились. В это же время сосед сверху, возвращавшийся домой к полудню, высыпал на своем балконе птичий корм; к нему отовсюду слетались голуби, которые начинали громко ворковать.

– Как тебя зовут? – спросил я на шестой или седьмой день наших встреч.

Она только что проснулась после того, как задремала на мне. До этих пор я обращался к ней, стараясь не говорить ни «вы», ни «ты».

Она встрепенулась:

– Что?

– Как тебя зовут?

– Зачем тебе? – Она недоверчиво взглянула на меня.

– Но ведь мы… Я знаю твою фамилию, а имени не знаю. Что ж тут?..

– Да нет, ничего плохого тут нет, малыш. Меня зовут Ханна. – Она засмеялась, долго не могла остановиться, отчего я тоже рассмеялся.

– Ты так странно на меня посмотрела.

– Просто я еще толком не проснулась. А тебя как зовут?

Мне казалось, что она это уже знает. Тогда было модно носить учебники или тетради не в портфеле, а под мышкой; мои вещи частенько лежали на кухонном столе, имя можно было прочесть на тетрадях и на учебниках, которые я

обертывал толстой бумагой, а сверху делал наклейку с именем и фамилией. Но она, видимо, не обратила на них внимания.

– Меня зовут Михаэль Берг.

– Михаэль, Михаэль, Михаэль. – Она словно пробовала мое имя на слух. – Итак, моего малыша зовут Михаэль, он студент…

– Школьник.

– …он школьник, и ему – сколько, семнадцать?

Мне польстили лишние два года, и я кивнул.

– …ему семнадцать, и когда он будет взрослым, то станет знаменитым… – Она помедлила.

– А я еще не решил, кем я стану.

– Но ты же учишься.

– Да, но…

Я сказал, что она для меня важнее любой учебы. И что мне хотелось бы бывать с ней подольше.

– Ведь все равно я останусь на второй год.

– Как это? – Она привстала. Это был наш первый серьезный разговор.

– Ну так, на второй год в последнем классе средней ступени. Я же столько пропустил из-за болезни. Глупо вкалывать, как дурак, чтобы все это наверстывать. Ведь мне и сейчас надо было бы быть на занятиях. – Я рассказал ей о моих прогулах.

– Вон. – Она откинула одеяло. – Вон из моей постели. И никогда не приходи сюда, пока не выучишь все уроки. Вкалывать, как дурак? Глупо? А билеты продавать и компостировать, по-твоему, не глупо? – Она встала голая посреди кухни, изображая кондуктора: левой рукой открыла маленькую сумку с билетами, подцепила пальцем с резиновым наперстком два билета, оторвала их, взмахнула правой рукой, чтобы подхватить болтающийся на ремешке компостер, щелкнула им два раза. – Два до Рорбаха. – Она протянула ладонь, получила деньги, открыла кошель на животе, сунула туда купюру, снова закрыла кошель, расстегнула отделение для мелочи, отсчитала сдачу. – У кого еще нет билетов? – Она пристально посмотрела на меня. – Глупо? Да ты не знаешь, что это такое.

Я сидел на краешке кровати. Меня словно по голове ударили.

– Прости. Я буду заниматься. Не знаю, успею ли все наверстать – ведь до конца учебного года осталось всего шесть недель. Но я постараюсь. Только у меня ничего не получится, если я не смогу видеть тебя. Я… – Сначала мне хотелось сказать: я люблю тебя. Но потом передумал. Может, она и права, даже наверняка. Но она не смеет требовать от меня, чтобы я лучше учился, тем более ставить наши свидания в зависимость от сделанных уроков. – Я не могу не видеть тебя.

Часы в коридоре пробили половину второго.

– Тебе пора. – Она помедлила. – С завтрашнего дня я выхожу во вторую смену. Возвращаться буду в полшестого, тогда и приходи. Но только после того, как позанимаешься.

Мы стояли друг против друга голые, но и в своей форме она не выглядела бы такой чужой. Я ничего не мог понять. Было все дело во мне? Или в ней? Может, она обиделась, что ее работа получилась глупой по сравнению с моей учебой? Но я же ничего такого не говорил ни про учебу, ни про ее работу. Или ей не нравилось иметь любовником неудачника? Разве я ее любовник? Кто я для нее? Одеваясь, я медлил в надежде, что она что-нибудь скажет. Когда я наконец оделся, она все еще продолжала стоять голой. Я потянулся обнять ее, но она даже не шевельнулась.

Почему мне делается грустно, когда я вспоминаю об этом? Возможно, я грущу о минувшем счастье – ведь та пора действительно была счастливой, те несколько недель, когда я и впрямь вкалывал, как дурак, мне удалось перейти в следующий класс, и мы любили друг друга так, будто ничего важнее на свете нет. Или, может, все дело в том, что стало мне известно лишь позднее, хотя существовало уже тогда?

Почему? Почему самые прекрасные события теряют задним числом свою прелесть, когда обнаруживается их подноготная? Почему воспоминания о счастливых годах супружества оказываются отравленными, когда выясняется, что у супруга на протяжении всех тех лет имелась любовница? Потому что якобы подлинное счастье при таком раскладе невозможно? Но ведь оно же было! Иногда воспоминания не могут сохранить своей верности пережитому счастью лишь потому, что его конец причинил нам страдание. Неужели счастье, чтобы стать подлинным, должно быть вечным? Разве страданием кончается только то, что было им всегда, хотя прежде боль не ощущалась и не осознавалась? Но что такое неосознанное и неощущаемое страдание?

Вспоминая прошлое, я вижу себя таким, каким был тогда. Я донашивал элегантные костюмы, которые достались мне из наследства богатого дядюшки вместе с несколькими парами двухцветных штиблет, черно-коричневых и черно-белых (замша и гладкая кожа). У меня были слишком длинные руки и слишком длинные ноги – не для костюмов, матери пришлось даже отпустить рукава и брюки, – а для того, чтобы как следует координировать собственные телодвижения. Оправа очков была самая дешевенькая, а волосы торчали непослушными патлами, что бы я с ними ни делал. Учился я не хорошо и не плохо; по-моему, многие учителя вообще толком не замечали меня, как и те из одноклассников, что задавали у нас тон. Мне не нравилось, как я выгляжу, одеваюсь, двигаюсь, не нравилось, как меня воспринимают другие и чего я добиваюсь сам. Зато сколько энергии таилось тогда во мне, сколько веры в то, что однажды меня оценят и поймут, насколько я недурен собой и неглуп, сколько надежд на новых людей и новые события.

Не в этом ли причина моей грусти? Не грущу ли я по юношеской пылкости, по безудержной вере в жизнь, хотя она ничего не могла мне обещать, да и не обещала? Иногда я вижу эту пылкость и эту веру в жизнь в лицах детей и

подростков, что наполняет меня не меньшей грустью, чем воспоминания о собственном прошлом. Не сродни ли всякая грусть именно этой грусти? Не она ли овладевает нами всякий раз, когда, оглядываясь назад, мы разочаровываемся в прекрасных воспоминаниях, поскольку пережитое счастье состоит не только из некоего события, но и из обещаний, которые так и остались неисполненными?

Она же – пора называть ее Ханной, как я тогда и начал называть ее, – Ханна никогда не жила ожиданием, обещаниями, она жила сиюминутной реальностью, и только ею.

Когда я расспрашивал Ханну о ее прошлом, а она отвечала на мои вопросы, мне всегда казалось, будто ей приходится рыться в каком-то пыльном сундуке. Она выросла в Трансильвании, в семнадцать лет приехала в Берлин, работала на заводах Сименса, в двадцать один год попала в армию. После окончания войны зарабатывала на жизнь самыми разными занятиями. Теперешняя работа трамвайным кондуктором ей нравилась тем, что ей давали форму, день проходил в движении, за окном сменялись уличные картинки, под ногами крутились колеса. Больше ничего ей в работе не нравилось. Семьи у нее не было. Ей исполнилось тридцать шесть лет. Все это она рассказывала так, будто речь шла не о ее собственной жизни, а о жизни совершенно постороннего человека, даже не очень-то хорошо ей знакомого. Когда меня интересовали подробности, она часто не знала, что ответить, и не понимала, зачем мне знать, что стало с ее родителями, были ли у нее братья или сестры, как ей жилось в Берлине и что она делала в армии. «И все-то тебе хочется знать, малыш!»

Так же обстояло дело и с будущим. Разумеется, я не строил никаких планов насчет брака и семьи. Но меня больше увлекали взаимоотношения Жюльена Сореля с мадам де Реналь, чем с Матильдой де ла Моль. Да и Феликс Круль смотрелся, по-моему, в объятиях матери лучше, чем в объятиях дочери. Моя сестра, которая изучала германистику, как-то заговорила за обедом о спорах вокруг того, существовала ли любовная связь между Гёте и Шарлоттой фон Штайн, – все подивились моей горячности, с которой я отстаивал существование этой связи. Я пытался представить себе, как сложатся наши отношения через пять или десять лет. Спрашивал я и Ханну, как она их себе представляет. Она даже до Пасхи ничего не загадывала, мне же хотелось уехать с ней на пасхальные каникулы на велосипедах. Мы могли бы, выдавая себя за мать и сына, снять где-нибудь комнату и провести вместе целую ночь.

Странно, что мне пришла в голову такая идея. Ведь если бы я отправился в путешествие с собственной матерью, то обязательно настаивал бы на отдельной комнате. Мне казалось, что я уже перерос тот возраст, когда мать должна провожать меня к врачу, помогать купить пальто в магазине или встречать с поезда. Когда на улице нас с нею встречали мои одноклассники, я боялся, что они сочтут меня маменькиным сынком. Зато я мог бы смело показаться на улице вместе с Ханной, хотя она и сама почти годилась мне в матери, во всяком случае она была всего на десять лет моложе моей собственной матери. Я бы даже гордился тем, что мы идем вместе.

Сегодня тридцатишестилетняя женщина кажется мне молодой. А пятнадцатилетний мальчик представляется ребенком. Удивительно, какое чувство уверенности в самом себе придала мне Ханна. Мои школьные дела пошли успешнее, что не осталось незамеченным учителями, а их признание опять-таки укрепило мою уверенность. Заметили это и знакомые девочки, которым нравилось, что я в их присутствии не робею. Теперь не вызывало во мне неприязни и собственное тело.

Ярко высвечивая наши первые встречи с Ханной, сохраняя их подробности, моя память делается довольно расплывчатой по отношению к нескольким неделям, которые пришлись на промежуток между тем разговором и окончанием учебного года. Причиной этому служит, видимо, и регулярность наших свиданий, а также их похожесть. Кроме того, в моей прежней жизни никогда не было таких насыщенных событиями и впечатлениями, таких быстротечных дней. Если вспоминать о моих тогдашних занятиях, то мне кажется, будто я, однажды сев за стол, не встал из-за него, пока не наверстал всего, что пропустил за время желтухи, – не выучил всех иностранных слов, математических доказательств и химических формул. О Веймарской республике и Третьем рейхе я читал еще, пока болел. И все наши свидания кажутся мне одним-единственным долгим свиданием. После того разговора они происходили всегда во второй половине дня, с трех до половины пятого, а если смена кончалась позднее, то до половины шестого. В семь у нас дома ужинали, а Ханна не хотела, чтобы я опаздывал. Но впоследствии полутора часов нам уже не хватало, я начал придумывать всякие уловки и находил дома отговорки, почему не вернулся к ужину.

Все дело было в чтении. На следующий день после нашего разговора Ханна поинтересовалась, что мы сейчас проходим в школе. Я рассказал ей об эпосах Гомера, о речах Цицерона и о Хемингуэе, который написал историю про то, как один старик сражался с большой рыбой и с морем. Она захотела послушать, как

звучат греческий и латынь, я прочитал ей кое-что из «Одиссеи», а также кусочек речи против Катилины.

– А немецкий ты тоже учишь?

– То есть?

– Ну, вы занимаетесь только иностранными языками или на родном языке тоже что-нибудь проходите?

– Да, кое-что читаем.

Пока я болел, в классе прошли «Эмилию Галотти», «Коварство и любовь», вскоре предстояло написать по ним сочинения. Мне полагалось все это читать, что я и делал, когда остальные уроки были уже готовы. Но бывало уже поздно, я сильно уставал, на следующий день почти ничего не помнил из прочитанного накануне, многое приходилось перечитывать.

– Почитай-ка мне!

– Сама можешь почитать, я принесу тебе книжки.

– У тебя такой красивый голос, малыш, мне будет приятней тебя послушать, чем читать самой.

– Ну, не знаю.

На следующий день, когда я прибежал к ней и хотел поцеловать ее, она отодвинулась.

– Сначала почитай.

Она говорила это всерьез. Пришлось битых полчаса читать ей вслух «Эмилию Галотти», прежде чем она забрала меня под душ, а потом пустила к себе в постель. Теперь я радовался душу. Пыл, с которым я прибегал к ней, утихал во время чтения. Ведь когда читаешь что-то вслух, то поневоле изображаешь нескольких действующих лиц, а это требует определенной сосредоточенности.

Зато под душем прежний пыл возвращался ко мне. Чтение вслух, душ, занятия любовью, а потом еще немножко нежностей в постели – таков был теперь неизменный ритуал наших свиданий.

Она была очень внимательной слушательницей. По ее смеху, презрительному фырканью, гневным восклицаниям или просто отдельным репликам было ясно, с каким вниманием следит она за развитием сюжета, как было понятно и то, что Эмилию с Луизой она считает просто дурочками. Нетерпение, с которым она заставляла меня читать дальше, объяснялось отчасти ее надеждой, что их глупостям рано или поздно придет конец. «Ну, нету сил моих!»

Иногда мне и самому хотелось продолжить чтение. Дни сделались длиннее, я стал читать подольше, чтобы задержаться с ней в постели до сумерек. Когда она засыпала на мне, когда визг пилы во дворе умолкал, зато начинал петь дрозд, когда все цвета на кухне переставали различаться, оставались лишь светлые и темные пятна, я чувствовал себя совершенно счастливым.

## 10

В первый день пасхальных каникул я встал в четыре утра. У Ханны была утренняя смена. Она уезжала в четверть пятого на велосипеде в трамвайное депо, откуда в половине пятого шел трамвай до Швецингена. По пути туда, говорила она, вагон идет совершенно пустой и заполняется только на обратном пути.

Я сел в этот трамвай на второй остановке. Второй вагон был пустым, Ханна находилась вместе с вагоновожатым в первом. Я поначалу не мог сообразить, какой вагон выбрать – передний или задний, потом решил войти в задний. Здесь мы могли оказаться наедине, даже, возможно, обняться и поцеловаться. Но Ханна ко мне не пришла. Наверное, она увидела, как я стоял на остановке и заходил в вагон. Трамвай ведь не проехал мимо. Но она продолжала разговаривать с вагоновожатым, шутила с ним. Мне все было видно.

Следующую остановку трамвай проехал. Там никого не было. Улицы были безлюдными. Солнце еще не взошло, под белым небом все казалось в бледном свете белесым: дома, припаркованные машины, только что распустившиеся

деревья, цветущие кусты, газоконденсатор, а вдали – горы. Трамвай шел медленно; наверное, он придерживался расписания, а поскольку остановки пропускались, то и приходилось замедлять ход. Я оказался как бы запертым в этом медленно движущемся вагоне. Сначала я сидел, затем пробрался вперед и уставился на Ханну; мне хотелось, чтобы она почувствовала спиной мой взгляд. Через какое-то время она стала оборачиваться и поглядывать на меня. При этом она продолжала разговаривать с вагоновожатым. Трамвай шел дальше. За Эппельхаймом рельсовый путь был проложен не по улице, а рядом, на щебеночной насыпи. Трамвай двинулся побыстрее, его колеса принялись равномерно постукивать, будто мы ехали по железной дороге. Я знал, что маршрут минует еще несколько станций и закончится в Швецингене. У меня возникло чувство, будто меня вытолкнули из обычного мира, где люди живут, работают, любят друг друга. Я казался себе обреченным на бесцельные и бесконечные скитания в пустом вагоне.

Тут я увидел остановку, павильончик среди поля. Я дернул за шнур, с помощью которого кондуктор сообщает вагоновожатому, что надо остановиться или трогаться дальше. Трамвай остановился. Ни Ханна, ни вагоновожатый не обернулись на мой звонок. Когда я выходил из вагона, мне показалось, что они с улыбкой смотрели на меня. Впрочем, я не был уверен. Трамвай поехал, я глядел ему вслед, пока он не скрылся сначала в низинке, затем за холмом. Я стоял между щебеночной насыпью и дорогой, кругом были поля, росли фруктовые деревья, поодаль виднелось садоводческое хозяйство с теплицами. Было свежо. Щебетали птицы. Белое небо над горами зарозовело.

Трамвайная поездка была похожа на дурной сон. Если бы последующие события не запечатлелись в моей памяти с необычайной четкостью, я действительно посчитал бы ее дурным сном. А то, как я стоял на трамвайной остановке, слушал птиц, глядел на восход солнца, походило на пробуждение. Впрочем, пробуждение от дурного сна не всегда приносит с собою облегчение. Иногда, лишь пробуждаясь, осознаешь весь ужас кошмара или то, что во сне тебе открылась ужасная правда. Я пошел домой, из глаз у меня текли слезы, я перестал плакать, лишь когда добрался до Эппельхайма.

Всю дорогу до дома я шел пешком. Раз-другой пытался остановить попутную машину. На полпути меня догнал трамвай. Он был полон. Ханну я не увидел.

Я ждал ее в полдень на ступеньках лестницы перед квартирой, расстроенный, испуганный и разозленный.

– Опять прогуливаешь?

– У меня каникулы. Что с тобой было утром? – Она открыла дверь, я шагнул через порог, прошел за Ханной на кухню.

– А что, собственно, произошло утром?

– Почему ты сделала вид, будто мы не знакомы? Ведь я хотел…

– Я сделала вид? – Она повернулась ко мне, посмотрела на меня, глаза ее были холодны. – Это ты сделал вид, будто не знаешь меня. Вошел в задний вагон, хотя заметил, что я еду в переднем.

– А как ты думаешь, зачем это я в первый день каникул, да еще в половине пятого, решил ехать в Швецинген? Я же хотел сделать тебе сюрприз. Думал, ты обрадуешься. А в задний вагон…

– Бедный мальчик. Встал в половине пятого, да еще в каникулы. – Еще никогда ее голос не звучал с такой иронией. Она качнула головой. – Откуда мне знать, зачем ты едешь в Швецинген? Откуда мне знать, почему ты меня узнавать не желаешь? Это твое дело. А теперь – ступай.

Даже не могу передать, до чего я возмутился.

– Это нечестно, Ханна. Ты же поняла, не могла не понять, что я хотел поехать с тобой. Как же ты могла подумать, будто я не желаю тебя узнавать? Разве я в таком случае поехал бы с тобой?

– Оставь меня в покое. Я тебе уже сказала, что все это твои дела, меня они не касаются. – Она встала так, что кухонный стол оказался между нами; ее глаза, голос, жесты гнали меня прочь, будто я был незваным гостем.

Я сел на кушетку. Она поступила со мной плохо, я хотел заставить ее объясниться. Но у меня ничего не получилось. Наоборот, она сама накинулась на меня с упреками. Я почувствовал неуверенность. Может, она по-своему права? Может, она и должна была посмотреть на все это именно так, а не иначе? Может, я невольно, совершенно того не желая, обидел ее?

– Мне очень жаль, Ханна. Глупо как-то все получилось. Я не хотел тебя обидеть, а вот вышло, похоже, что…

– Похоже? Похоже, по-твоему, что ты меня обидел? Да не можешь ты меня обидеть, только не ты. Уйдешь ты наконец? Я устала, хочу вымыться, хочу отдохнуть. Оставь меня в покое.

Она вопросительно взглянула на меня. Я остался сидеть на кушетке, тогда она пожала плечами, отвернулась, пустила воду в ванну и принялась раздеваться.

Я встал и ушел. Мне казалось, что я ушел от нее навсегда. Но уже через полчаса я вновь стоял перед ее квартирой. Она впустила меня, и я взял всю вину на себя. Да, был глуп, эгоистичен, бессердечен. Да, обидел ее. Нет, не обидел, потому что мне ее обидеть никогда не удастся. Не мог ее обидеть, потому что она мне этого никогда не позволит. В конце концов я был счастлив, так как она призналась, что все-таки обиделась. Значит, она только делала вид, будто совсем уж безразлична и безучастна по отношению ко мне.

– Ты меня простила?

Она кивнула.

– Ты любишь меня?

Она опять кивнула.

– Ванна еще полная. Давай-ка я тебя искупаю.

Позднее я спрашивал себя, не оставила ли она воду нарочно, так как знала, что я вернусь. И не принялась ли она нарочно раздеваться, так как знала, что это засядет у меня в голове и заставит возвратиться. Не хотела ли просто выиграть эту игру, чтобы показать свою власть надо мной. Мы занимались любовью, потом просто лежали рядом, и я рассказывал ей, почему вошел в задний, а не в передний вагон, она поддразнивала меня: «Ты и в трамвае готов этим заниматься? Ах, малыш, малыш!» Словом, повод для нашей размолвки вроде бы потерял всякое значение.

Однако значимым остался итог. Я просто проиграл тогда. Краткого столкновения, угрозы оказаться отвергнутым было вполне достаточно для моей капитуляции. В последующие недели я даже не пытался бороться. Я безоговорочно капитулировал при малейшей угрозе с ее стороны. Я тотчас принимал на себя любую вину. Признавал ошибки, которых не совершал, раскаивался в намерениях, которых никогда не имел. Когда она проявляла суровость, холодность, я начинал умолять ее все простить и снова любить меня. Иногда мне чудилось, что она сама страдает от собственной холодности и суровости. Что ей хочется тепла, пусть даже оно проявляется в виде извинений, просьб, увещеваний. А иногда мне казалось, что ей просто нравится властвовать надо мной. Так или иначе – выбора мне не оставалось.

Я не мог поговорить с ней об этом. Разговор о наших ссорах привел бы лишь к новой ссоре. Пробовал сочинять ей длинные письма. Но она на них никак не отвечала, а когда я задал прямой вопрос, сказала только:

– Опять начинаешь?

## 11

Не скажу, что после того первого дня пасхальных каникул мы с Ханной не были счастливы. Наоборот, мы никогда раньше не чувствовали себя такими счастливыми, как в эти апрельские дни. При всех странностях нашей первой размолвки и вообще наших размолвок все остальные части нашего обычного ритуала – чтение вслух, душ, занятие любовью, разговоры в постели – действовали на нас благотворно. Кроме того, она сама загнала себя в ловушку упреком, будто я сделал вид, что не знаю ее. «Ты не хотел, чтобы нас видели вместе», – этого ей говорить не следовало. Сразу после Пасхи мы уехали с ней на четыре дня на велосипедах в Вимпфен, Аморбах и Мильтенберг.

Уже не помню, что я наврал родителям. Сказал, будто еду с моим приятелем Маттиасом? Выдумал групповую экскурсию? Или сказал, что собираюсь навестить бывшего одноклассника? Вероятно, мать, как всегда, беспокоилась, а отец, как всегда, говорил ей, что для беспокойства нет причины. Разве я не закончил с успехом учебный год, чего от меня никто не ожидал?

За время болезни я не тратил карманных денег. Но их все равно бы не хватило, чтобы платить в дни поездки за Ханну. Пришлось отнести мою коллекцию марок в филателистический магазинчик возле церкви Святого Духа. Это был единственный филателистический магазин, на дверях которого висело объявление о покупке коллекций. Хозяин полистал мои альбомы и предложил шестьдесят марок. Я обратил его внимание на гордость моей коллекции, прямоугольную египетскую марку с пирамидой, стоившую по каталогу не меньше четырехсот марок. Хозяин лишь пожал плечами. Если я так дорожу коллекцией, лучше оставить ее у себя. Кстати, имею ли я вообще право ее продавать? Что скажут родители? Я пробовал торговаться. Если марка с пирамидой не такая ценная, я оставлю ее себе. Но за альбомы без нее хозяин давал всего тридцать марок. Значит, она все-таки ценная? В конце концов я получил семьдесят марок. Чувствовал, что обманут, но мне было все равно.

Накануне поездки волновался не только я. К моему удивлению, Ханна за несколько дней до нашего путешествия тоже занервничала. Она принялась собирать вещи, упаковывала и опять распаковывала велосипедную сумку и рюкзак, которые я ей достал. Я пытался объяснить ей по карте придуманный мною маршрут, но она не захотела ни слушать объяснений, ни смотреть на карту. «Я сейчас слишком волнуюсь. Ты уж сам разберись, малыш».

Мы выехали в пасхальный понедельник. Светило солнышко, оно светило нам все четыре дня. Утром было прохладно, зато днем теплело – становилось не слишком жарко для велосипедной прогулки, но достаточно тепло для пикников. Леса казались зеленым ковром с просветами, пятнами, прогалинами всех оттенков этого цвета от желтоватого до салатного, сине-зеленого и темно-зеленого. В долине Рейна уже цвели первые фруктовые деревья. В Оденвальде распустились розы.

Довольно часто нам удавалось ехать рядом. Тогда мы показывали друг другу то, что открывалось по сторонам: старый замок, рыбаков с удочками, плывущий по реке пароход, туристскую палатку, растянувшееся гусиным маршем по берегу семейство, шикарный американский лимузин с открытым верхом. На развилках дорог я уезжал вперед. Она не хотела разбираться с определением маршрута. В остальном же, особенно если движение на шоссе становилось интенсивным, мы чередовались – иногда я ехал за ней, иногда она за мной. У нее был велосипед с металлическим кожушком, который закрывал шестеренку передач и часть цепи. На ней было синее платье с широкой юбкой, которая плескалась на ветру. Мне понадобилось некоторое время, чтобы перестать беспокоиться, что она упадет,

если платье зацепится за спицы или шестеренку. Потом мне даже нравилось, когда она ехала впереди.

Как я ждал этих ночей. Я мечтал, что мы будем любить друг друга, засыпать, просыпаться, опять любить, снова засыпать и вновь просыпаться, каждую ночь. Но проснулся я только однажды в первую ночь. Она лежала спиной ко мне, я склонился над ней, поцеловал, она повернулась на спину, приняла и обняла меня. «Малыш мой». Я заснул на ней. Потом мы спали ночи напролет, утомленные дорогой, ветром и солнцем. Мы любили друг друга утром.

Ханна предоставляла мне выбирать дорогу. Я же выбирал и гостиницы для ночлега, регистрировал нас матерью и сыном, ей оставалось лишь расписываться; даже меню я заказывал не только себе, но и ей. «Мне нравится, когда можно самой ни о чем не беспокоиться».

Единственная наша ссора произошла в Аморбахе. Проснувшись рано утром, я потихоньку оделся и вышел из комнаты. Мне хотелось принести ей завтрак в номер, а заодно посмотреть, не открылась ли поблизости цветочная лавка, где можно было бы купить для Ханны розу. На всякий случай я оставил на ночном столике записку. «Доброе утро! Пошел за завтраком, скоро вернусь». Или что-то в этом роде. Когда я возвратился, она стояла в комнате с бледным лицом, полуодетая, дрожащая от гнева.

– Как ты мог уйти, не предупредив?

Я поставил поднос с розой и завтраком на стол, хотел обнять ее.

– Ханна…

– Не трогай меня.

В руках у нее был узкий ремешок, которым она подпоясывала платье; она сделала шаг назад, размахнулась и ударила меня ремешком по лицу. Я почувствовал кровь на губе. Больно не было. Я только ужасно испугался. Она размахнулась снова.

Но на этот раз она меня не ударила. Рука ее повисла, ремешок выпал, она заплакала. Я никогда еще не видел ее плачущей. Лицо ее расплылось. Широко раскрытые глаза, раскрытый рот, веки сразу же опухли, на щеках и на шее выступили красные пятна. Послышались какие-то всхлипывающие, гортанные звуки, похожие на сдавленный крик, который она издавала, когда мы занимались любовью. Она стояла и смотрела на меня сквозь слезы.

Мне надо было бы обнять ее. Но я не мог. Я просто не знал, что делать. У нас дома никто так не плакал. И никто не бил – ни рукой, ни тем более ремнем. Дома при ссорах пытались объясниться. А что я мог тут сказать?

Она сделала два шага, бросилась мне на грудь, принялась бить кулачками, затем вцепилась в меня. Теперь я мог обнять ее. Ее плечи вздрагивали, она уткнулась лбом в мою грудь. Наконец она глубоко вздохнула и прижалась ко мне.

– Будем завтракать? – Она откинула голову. – Боже мой, малыш, ну и вид у тебя. – Своим мокрым платком она вытерла мне губы и подбородок. – Вся рубашка в крови. – Она сняла с меня рубашку, затем брюки, потом разделась сама, и мы снова любили друг друга.

– Что с тобой случилось? Почему ты разозлилась?

Мы лежали рядом, такие умиротворенные и такие счастливые, что я думал – сейчас она мне все объяснит.

– Как – что случилось? Вечно у тебя глупые вопросы. Нельзя же уходить без предупреждения.

– Но ведь я оставил тебе записку…

– Записку?

Я сел. На ночном столике, куда я положил записку, ее уже не было. Я встал, поискал записку под столиком и рядом, под кроватью, в кровати. Записки нигде не было.

– Ничего не понимаю. Я оставил тебе записку, что пошел за завтраком и скоро вернусь.

– Разве? Не вижу никакой записки.

– Ты мне не веришь?

– Я бы поверила, но записки-то нет.

Больше мы не спорили. Может, записку ветер сдул и она где-нибудь затерялась? Неужели все это было просто недоразумением – ее ярость, моя разбитая губа, ее страдальческое лицо, моя беспомощность?

Может, надо было все-таки найти записку, которая стала причиной ярости Ханны, причиной моей беспомощности?

– Лучше почитай мне, малыш!

Она прижалась ко мне, а я достал книжку Эйхендорфа «Из жизни одного бездельника» и раскрыл ее там, где мы закончили в последний раз. «Бездельник» читался лучше, чем «Эмилия Галотти» или «Коварство и любовь». Ханна слушала меня с напряженным вниманием. Ей нравились стихи, вкрапленные в прозаический текст. Нравились все эти переодевания, интриги, приключения, которые выпали в Италии на долю героя. Правда, она осуждала его тунеядство, то, что он не работает, ничего не умеет и ничему не хочет учиться. Ее обуревали противоречивые чувства, но сама история увлекала, и она могла через несколько часов после чтения вдруг спросить: «Значит, таможенник считался плохой профессией?»

Рассказ о нашей ссоре опять получился таким подробным, что надо дополнить его рассказом о нашем счастье. Ссора сблизила нас. Я увидел ее плачущей, и эта Ханна была мне ближе, чем та Ханна, которая всегда была сильной. Она открылась мне со своей нежной стороны, которая прежде была мне неведома. Она все время разглядывала мою разбитую губу и ласково прикасалась к ней, пока губа не зажила окончательно.

Теперь мы и любили друг друга иначе. Раньше я уступал инициативу ей, она владела мною. Потом и я научился владеть ею. Во время нашей поездки это чувство владения пропало и уже больше не появлялось.

У меня сохранилось стихотворение, написанное тогда. Стихотворение так себе. Я увлекался в ту пору Рильке и Бенном, и сейчас мне отчетливо видно мое подражательство. Но вижу я и то, как близки мы были с Ханной тогда друг другу. Вот эти стихи:

Мы открываемся друг другу,

ты мне и я тебе,

мы погружаемся друг в друга,

ты в меня, я в тебя,

мы растворяемся друг в друге,

ты во мне, я в тебе.

Только в эти мгновенья

я – это я,

ты – это ты.

## 12

Если я и забыл, что именно врал родителям, чтобы совершить поездку с Ханной, то хорошо помню, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы остаться дома одному в последнюю неделю каникул. Теперь уж я и не знаю, куда собрались тогда уехать родители, старший брат и старшая сестра. Проблема заключалась в младшей сестре. Предполагалось, что она отправится пожить в семье своей подруги, но поскольку я оставался дома, то и она решила остаться. Однако родителям это не понравилось. Тогда пришлось и мне говорить, что я буду жить в семье приятеля.

Оглядываясь назад, не могу не подивиться великодушию моих родителей, которые позволили мне, пятнадцатилетнему, остаться дома одному на целую неделю. Может, они почувствовали ту самостоятельность, которая окрепла во мне благодаря встречам с Ханной? Или же решили, что раз уж я, несмотря на затяжную болезнь, сумел успешно закончить учебный год, то стал ко всему относиться ответственнее, а потому заслуживаю большего доверия, чем прежде? Кстати, не припоминаю, чтобы они требовали у меня отчета за многие часы отсутствия, которые я проводил у Ханны. Судя по всему, они довольствовались предположением, что я, наконец выздоровев, хотел побольше заниматься с друзьями, пообщаться с ними. Кроме того, четверо детей – это же целая орава, тут внимание родителей не может уделяться всем сразу, а сосредоточивается на том ребенке, который на данный момент требует больше всего забот. Я слишком долго обременял моих родителей заботами, поэтому они почувствовали значительное облегчение, когда я выздоровел и перешел в следующий класс.

Я спросил сестру, чего она хочет от меня за то, чтобы я остался один, а она отправилась бы к подруге; она сказала – джинсы (мы тогда называли их «блюджинсами») и бархатный пуловер. Желание вполне понятное. Джинсы еще считались чем-то особенным, шикарным, к тому же ей до смерти надоели костюмы в елочку и платья в крупный цветок. Ведь если мне приходилось донашивать дядины вещи, то она донашивала после старшей сестры. Вот только денег у меня не было.

– А ты укради! – Младшая сестра равнодушно взглянула на меня.

Все вышло на удивление просто. Я перемерял несколько пар, захватил в кабинку и джинсы ее размера, засунул их за пояс моих широченных брюк и вынес под пиджаком из магазина. Пуловер я украл в универмаге. Накануне мы зашли с сестрой в отдел модного готового платья, осмотрели несколько секций, выбрали пуловер. На следующий день я решительным шагом прошел по отделу, схватил пуловер, сунул его под пиджак и выскочил на улицу. В тот же день я украл для Ханны шелковую ночную рубашку, меня заметил охранник универмага, я бросился бежать что было сил, едва ноги унес. Потом я несколько лет не решался зайти в этот универмаг.

После тех ночей, которые мы провели вместе во время нашего путешествия, я каждую ночь скучал по Ханне, мне хотелось почувствовать ее тепло, прижаться животом к ее ягодицам, грудью к ее спине, положить руку на ее грудь, мне

хотелось, проснувшись ночью, нащупать ее рукой, коснуться ногами ее ног, уткнуться лицом ей в плечо. Неделю дома один – это целых семь ночей вместе с Ханной.

Как-то вечером я пригласил ее к себе на ужин. Она ждала на кухне, пока я возился с последними приготовлениями. Стояла в проеме между столовой и гостиной, пока я накрывал на стол. Сидела за круглым столом на том месте, которое обычно занимал отец. Оглядывалась по сторонам.

Ее внимательный взгляд скользил по нашей мебели в стиле бидермайер, по роялю, по старинным напольным часам, по картинам, книжным полкам, по сервизу и столовым приборам. Вернувшись с кухни, куда я ходил за десертом, за столом я ее не застал. Пройдясь по комнатам, она остановилась в отцовском кабинете. Я потихоньку смотрел на нее, прислонившись к дверному косяку. Взгляд ее блуждал по книжным полкам, занимавшим всю стену, словно она читала какой-то текст. Шагнув к одной из полок, она подняла на уровень груди правую руку и медленно провела указательным пальцем по корешкам книг, затем шагнула к следующей полке и вновь провела пальцем по книжным корешкам, касаясь каждого из них; так она обошла весь кабинет. У окна она остановилась, вглядываясь в свое отражение и отразившиеся в стекле книжные стеллажи.

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/bernhard-shlink/chtec-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити